**РАССКАЗЫ**

◆

«Теперь осень. Зима впереди», – сказал про себя старый лодочник Иосиф.

– Где ты? Где ты? – кричал женский голос в тумане.

Разбросанные по полу косточки вишен лежали, уподобив себя ненужным вещам, но все же оставаясь частью целого.

Некто во тьме крался вдоль длинных заборов, и чей-то голос шептал на чужом языке. И Иосифу стало страшно. Он вспомнил, как год назад похожей ночью точно так же он пытался внушить себе, что всё благополучно и спокойно. А теперь он умирает. Один, в своём последнем убежище, которое кормило его и утешало все эти годы. Смерть зашла к нему в гости и, позабыв о времени, осталась с ним навсегда.

Женщина вдали заголосила вновь, взывая к его имени, его образу, который, как он чувствовал, стал распадаться с каждым, пока ещё доступным ему вздохом.

Зазвучала музыка, запели голоса.

«Во мне столько всего жило», – подумал Иосиф.

Разгребая ногами тяжёлую прелую листву, он шёл по лесу, чтобы выйти к морю и у самого берега, очнувшись разумом, ясными словами произнести: «Я ждал тебя всю жизнь, но ты так и не пришла ко мне».

Горячие слёзы катились по его морщинистому лицу, истончаясь и остывая, пока не исчезли вовсе, оставляя после себя лишь слабый солоноватый след.

В тёмной комнате, освещённой крохотным огарком свечи, спасались от забвения его вещи. Расстелив перед собой зыбкие тени, они молчали и думали ту же думу, что и старый лодочник, проходя в его памяти добрыми воспоминаниями. Но и они не были спокойны. В их лёгком дыхании постепенно застывали картины прошлого, и когда женщина, ведомая инстинктом, снова воззвала к своему мужу, то они затрепетали, пугаясь неведомого.

Они часто спорили сами с собой и друг с другом во тьме минут, в ожидании прихода хозяина, о том, другом мире, который настанет, после того как все окончательно уйдут. А теперь он умирал.

Предметы были знакомы со смертью; её обитель была между мирами, граничащими с теми, какими они станут и какими они были раньше, и долгие беседы с ней не убедили их в её добром покровительстве, хоть и примирили с ним.

Иосиф снова вздохнул. Покачиваясь на воде, он ощущал, как убаюкивающие руки стали мягче, податливее, будто свободно отрешаясь от него и тихо выпуская из своих объятий. Горечь прикоснулась к его дыханию, обесцвечивая его лицо, и ему смертельно захотелось вскрикнуть, как когда-то, во времена ещё сильного чувства к себе и ко всему миру.

Но затем он понял, что лишь пристально всматриваясь в тёмное пространство, он сможет разглядеть в ней ту, которую призывал к себе многие годы.

Отдаляясь, уплывая вдаль и становясь всё меньше, Иосиф не был умиротворён, несмотря на его недвижимое в наступающей тьме тело.

◆

Когда наступает холод, на небе царит пронзительная синева и, кружась, падают белые игольчатые хлопья, все знают – пришла зима. Но старый дед Василий, пребывая в тёплом, окутывающем его с ног до головы полусне грезил весну и лето, раскинувшуюся повсюду в цветущей зелени и наполненную жизнью землю, не принимая настоящую действительность – зима пришла.

В своём старом, за покосившейся оградой, доме, он был застигнут непогодой и, не желая вступать с ней ни в какие отношения, погрузился в свой внутренний мир, подолгу сидя на холодной печи, волнуя себя полузабытым прошлым и перебирая в памяти осколки воспоминаний.

Хозяйство его постепенно пришло в упадок, а поскольку жил он в одиночестве, то предчувствие скорой смерти заглядывало под его крышу всё чаще. Действительно, на белом свете не осталось никого, кто был с ним раньше и сопровождал его в пути, разделяя беды и радости.

Сегодня дед Василий прожевал утром те немногие куски хлеба, которые у него ещё оставались, и слабыми ногами дошёл до печи. Он долго не мог одолеть её, но, взобравшись, сразу же застыл на ней, устало опустив подбородок себе на грудь.

Шли долгие часы, в вечерней тишине, тихо падая на мёрзлую землю и становясь белоснежным покрывалом, опускался снег, превращая её собой в подобие молчаливого голоса, который скрывается в груди каждого, кто окажется в это время года вне дома.

Полуслепыми глазами дед Василий смотрел вдаль, не замечая перемен за окном, но видя перед собой лишь лозу, взращённую своими руками, – по ней бежал, струясь вверх тёмными ягодами, спелый виноград.

Гроздья спускались с неё тяжёлыми кудрями, и руки его чувствовали, как пульсирующая в них сила стремилась выйти наружу к другой силе, заключённой в жилах, артериях, биении его собственного сердца.

Не желая смущать лозу инородным телом, он никогда не использовал инструмент – железо было из иной стихии; лишь человеческие руки, он был уверен, могли прикасаться к ней, не возмутив своим вторжением её природу.

Скрипнула дверь, пробежал лёгкий ветер, и воздух окутал Василия нежным ароматом. Затем чуть слышное, то приближающееся, то уходящее вдаль жужжание невидимого насекомого тронуло его слух, и одновременно с этим он снова почувствовал в своих ладонях тяжелые гроздья.

Не удержавшись, он открыл рот и положил между зубами спелую ягоду. Вспыхнув вкусом, она проникла в самые отдалённые уголки его сознания, молниеносно окрасив собой уснувшие чувства и воскресив на мгновение много прошедших времён, от которых, как он думал, уже ничего не осталось. Нежданно вспомнившие жизнь дни замерли в озаренной светом глубине, но еще до того, как он успел рассмотреть их, они стали таять, пока, истончившись, не исчезли навсегда.

Взмахнув широким крылом, большая чёрная птица пролетела, бросив свою тень над Василием, ждущим яркое и неутомимое солнце, которое, храня мечту о его возвращении, теперь созывало свои бесчис-
ленные лучи, чтобы устремить их силу в сторону наступающей на него тьмы.

◆

Эфраиму было немного за сорок, когда он обнаружил в себе способность парить. Не летать, нет, а именно парить в нескольких сантиметрах над землёй, а точнее, своей кроватью. Впервые он столкнулся с этим явлением одним ранним утром, когда прозвеневший будильник заставил его вынырнуть мучительно и тягуче из какого-то очень приятного для него сна, которого, увы, он не запомнил.

Тем утром, слабой рукой заставив умолкнуть взбудораженный механизм, он неожиданно для себя ещё в полудрёме почувствовал необыкновенную лёгкость во всём теле. Приняв это за последствие сна, он попытался снова погрузиться в сладкую дремоту. Однако это ему не удалось, и он решил окончательно просыпаться, чтобы не опоздать на работу. И вот
тогда он впервые почувствовал, что каким-то чудесным образом приподнялся над своей кроватью всем телом и буквально воспарил над ней.

«Чудно», – подумал он и, дотронувшись до основания кровати, попытался с неё встать. Это удалось ему лишь с нескольких попыток, во время которых его охватывала паника, после которой он погружался в лёгкую меланхолию и состояние полной обречённости от ощущения своего нового и неожиданного состояния.

С тех пор, днем привычно существуя в повседневной жизни, ночью Эфраим принимал горизонтальное положение и зависал в воздухе, словно невесомое облако. Смирившись со своим новым состоянием и засыпая, он представлял себя плывущим по воде, тем самым отвлекая от реальности свой испуганный ощущением невесомости ум.

Шли дни ежедневных забот в адвокатской конторе, где он служил уже много лет и где ничего экстраординарного с ним, помимо его небольшой тайны, в которую он решил не посвящать никого, не происходило. Всё так и осталось бы неизменным на долгие годы, если бы судьба не решила вмешаться в его жизнь ещё раз.

В одну из ночей ему показалось, что прямо под ним, между телом и поверхностью матраца, начали происходить странные вещи: уже привычно воспарив и готовясь отойти ко сну, он услышал под собой слабый писк.

«Мыши, – подумал он первое, что пришло в голову, – подо мной завелись мыши», – он изловчился и пошевелил под собой рукой. Ничего
особенного не нащупав, он облегчённо вздохнул, как вдруг снова услышал внизу на этот раз уже шипящий звук, а затем невнятное бормотание, как будто говорили с дефектом на каком-то малознакомом ему языке. «Латынь, – удивился Эфраим, припоминая университетский курс, – или английский, – засомневался он. Но мгновение спустя, словно очнувшись, встрепенулся: – Какая латынь, ведь это произносят прямо подо мной, это невозможно!» Действительно, источник звуков находился на небольшом пространстве в два пальца толщиной, между ним и его постелью.

Он провёл бессонную ночь, чуть не сойдя с ума, в бреду и полусне прислушиваясь к исходившему из-под него бормотанию, шёпоту и писку. Наутро всё прекратилось так же внезапно, как и началось, и Эфраим с чёрными кругами под глазами пошёл на работу.

Весь последующий день ему чудились звуки, доносящиеся из-под стола рядом с мусорным ведром для бумаг, либо в углу, где стоял копировальный аппарат, а иногда даже из собственного кармана пиджака.

 «Это от недосыпания и общего нервного расстройства», – успокаивал он себя и решил принимать теперь перед сном лёгкое снотворное. Однако и на следующую ночь уже практически во власти сна к нему просачивались из темноты шёпоты, бормотание и даже слабые повизгивания. Наутро, проснувшись совершенно разбитым, он позвонил в контору и сказался больным.

«Странно, но сейчас нет никаких звуков!» – вернувшись в кровать, с облегчением отметил про себя Эфраим и со стоном измученного обстоятельствами человека натянул на голову одеяло, оголив при этом худые ноги. Пробыв в таком состоянии ещё некоторое время, он нервно сбросил его с себя и с шумом вдохнул воздух. Перед его глазами замельтешили мушки, поплыли радужные круги, а затем всё исчезло. Абсолютно всё! Эфраим внезапно перестал видеть. Его комната, где он спал, прикроватный столик, окно с тюлевой занавеской – всё это, видимое им бесчисленное количество раз, сейчас растворилось во тьме. Эфраим понял, что в одночасье лишился зрения, попросту ослеп.

Парализованный страхом, в полном мраке паря над собственной кроватью, он лежал, вытянув руки вдоль тела, не видя знакомого мира и не представляя себе, как жить дальше. Эфраим не знал, сколько времени он пробыл в таком оцепенении, пока не почувствовал сильный толчок, выведший его из полумёртвого состояния. Он дёрнулся и ощутил, как куда-то поплыл, неожиданно почувствовав своё тело гибким, сильным и постепенно согреваясь от быстрого движения.

Плавники располагались вдоль его нового чешуйчатого тела, а подвижный хвост был теперь на месте, где ранее существовали ноги. Он быстро продвигался вперёд и одновременно с этим как бы с ленцой думал о происходящих с ним переменах. Это были не стройные короткие мысли, к которым он приучил себя за время службы нотариусом, а плавные, в такт ровному движению переливы сознания, где, как в жидкости, плавали то одно, то другое утверждения. «Слава богу, всё разрешилось, я плыву», или: «Наконец-то течение благоприятное», и потом: «Прохладно, но лучше, чем в кровати и с одеялом».

Вытянув длинную щучью голову в чёрную, увлекающую его на глубину даль и совершенно не боясь неизвестности, которая при иных обстоятельствах показалась бы ему пугающей и куда бы он по своей воле раньше не решился бы устремиться никогда, Эфраим плыл, изгибая своё рыбье тело, подчинившись подводным течениям, забирающим его всё дальше от родного дома.

Спустя некоторое время он стал различать в абсолютном мраке светящуюся точку и, немного увеличив скорость, вскоре очутился возле большого окна, освещённого изнутри мягким светом лампы, стоявшей посреди круглого стола.

«А жизнь ведь только начинается», – подумал Эфраим, невозмутимо вплывая через открытое окно и мягко ложась на блюдо прямо под освещение. Бормочущие голоса, невнятная речь и слабое попискивание мягко коснулись его уха. Но затем постепенно, с возрастающей силой, как будто увеличивалась громкость радиоприёмника, звуки стали нарастать, пока не заполнили собой всю комнату.

И тогда он явственно различил среди них позвякивание бокалов, скрежет ножей о тарелки и отчётливые людские голоса. Шла неторопливая беседа. Мужчины и женщины вели её, вкушая блюда и время от времени чокаясь бокалами.

А вскоре мужской бас невнятно от заполнившей его рот пищи произнёс: «Пожалуй, теперь можно перейти и к рыбе». И Эфраим вновь ощутил знакомое чувство парения, а затем почувствовал, как холодное лезвие ножа плавно вонзается ему в бок и он погружается в беззвучный мрак.

◆

Рассвет занимался с медлительностью руки художника, неспешно кладущего краски на раскинувшуюся повсюду землю и смущённого тем, что они, пока ещё не выразительные и блёклые, безразлично ложились на холст природы, совсем рядом и вдали, вплоть до самого горизонта.

От нескончаемой жизни вросшая в землю древняя мельница днём терпеливо вращала до изнеможения лопастями, безуспешно стараясь охватить раскинувшееся над собой небо, но сейчас, на исходе ночи отдыхая на безветрии, она уже впитывала наступление нового дня, стремясь поскорее избавиться от оков тьмы.

Выбежавший на пригорок хромоногий пёс залился на появившегося из ниоткуда непрошеного гостя застоявшимся в самой глубине его звериной души лаем. То был я, продрогший взбирающийся путник, с нескончаемым упорством втаптывающий своим посохом комья дикой травы в податливую землю.

Приблизившись к не унимающейся собаке, я внимательно и дружелюбно, стараясь отыскать взгляд, посмотрел ей в глаза. Мне это удалось, и она тотчас смолкла, установив со мной молчаливую связь.

Завидев неподалёку покосившуюся избу, я стал колебаться, стоит ли мне тревожить хозяев в столь ранний час, но вскоре обнаружил себя уже возле их двери. Не решаясь постучать, я замер в нерешительности, но внезапно дверь отворилась, и хозяин показался на пороге. Это был уже седой, но ещё вполне крепкий мужчина.

Уже сидя за столом перед большой тарелкой еды, я понял, судя по звукам, которые этот человек издавал, пытаясь что-то сказать мне, что он нем. Его большие, словно придавленные невидимым грузом и привыкшие к тяжелому труду мозолистые руки мирно покоились на темной столешнице; они были грубые, перепачканные разноцветной краской и одновременно очень ладные, такие, что я с трудом мог оторвать от них свой взгляд, настолько гармоничными они казались мне.

Когда я уходил и уже переступал, слегка пригнувшись, порог этого гостеприимного дома, то за спиной неожиданно услышал, как чей-то звонкий девичий голос окликнул меня по имени. Я обернулся, но никого, за исключением хозяина, грузно сидящего в полутьме, разглядеть не смог.

С тех пор я часто вспоминаю странного безмолвного мельника, угостившего меня трапезой и вслед позвавшего по имени.

**Скорбь**

У одной коровы было три уха. Иногда случалось, что от летней жары два из них опадали, подобно увядшим листьям лопуха, и, уныло свисая по сторонам, мешали слушать корове всю полноту творящейся вокруг неё жизни. Зато третье ухо у неё было сильным и стойким, и особенным!

На крыльце своего дома, рядом с коровой, обернув цветастым платком сморщенное лицо, подолгу сидела, шевеля губами и смотря вдаль подслеповатыми глазами, старуха.

Корова обладала меланхоличным характером и на соседствующую рядом с ней женщину внимания практически не обращала, предпочитая лениво размышлять в полуденной тишине о своей особенной доле. Третье ухо, которое у неё находилось между двумя обычными другими, прямо надо лбом, было крайне чутким инструментом, улавливающим даже самые слабые звуки.

Так, сегодня утром она явно слышала тихое биение старухиного сердца, сквозь которое пробивались слова утешения, обращённые к себе самой и исполненные горечью воспоминаний о давно утраченной молодости, когда она, стройная и быстроногая, бегала наперегонки с подружками, убегая от мнимой угрозы догоняющих их парней. «Было, было дело!» – вскрикивало её уставшее от жизни сердце.

Корова, не до конца понимая этих волнений, жевала растущую повсюду сочную траву и время от времени поглядывала на неё своим коровьим мягким взглядом.

Проходившие мимо крестьяне, ненадолго останавливающиеся возле их дома, а затем спешащие прочь по своим неотложным делам, успевали обронить как бы невзначай в коровье ухо два-три слова, идущих из потаённых глубин своих душ и от этого очень ценных.

Но корова, очевидно, не осознавала всей ценности услышанных ею откровений, иначе могла ли бы она оставаться настолько равнодушной?

Ведь были это в основном мольбы о возвращении безвозвратно ушедших дней, о том, что не сумели вовремя успеть сделать и как недополучили по несправедливости, считали они, от горемычной жизни своей многих благ.

И каждый раз, проходя сквозь её ухо, тихие и настойчивые людские голоса творили лёгкую брешь в её собственном сердце. До этих пор, не имея сожаления о судьбе своей и не задумываясь над течением собственных дней, живя по инерции, она вдруг стала приобретать некую чувственность и затаённую силу, накапливаемую от всех тревог неисполненных людских желаний, протекающих сквозь неё, как собственных.

Шли дни, и корова всё чаще становилась задумчивой, с тревогой прислушиваясь к родному сердцу и недоумённо качая головой в такт его глухому биению, ставшему теперь внимательно отзываться на услышанные ею слова.

А иногда будто электрический ток пробегал у неё где-то внутри тела, сотрясая его и затем продолжая болезненно отзываться в течение всего дня. И она, таким образом, становилась всё более чуткой и восприимчивой к чужой боли.

Прошло совсем немного времени, возможно, месяц или два, когда из коровы стало проглядывать существо иной природы. Внешне она почти не изменилась, возможно, только челюсти стали двигаться более энергично да взгляд потерял прежнюю отрешенность и стал цепким, живо интересующимся всем вокруг. А необыкновенное третье ухо её, уменьшившись, стало совсем крошечным, словно подчёркивая этим свою малую внешнюю значимость.

Теперь в скрытом от глаз месте, в тишине коровьей души и спокойном биении её сердца воцарился новый порядок – боль каждого, накопленная от многих проходящих мимо и осев на стенках её собственного внутреннего мира, всё чаще пробуждала в ней до того незнакомую, но сейчас уже ставшую привычной скорбь, шедшую от воспалённых печалью чужих сердец, чьи тела в обиде на свою убывающую жизнь могли лишь слабо восклицать о своих зря прожитых днях.

Мёртвая корова, укрывшись собственной тенью, лежала чуть по-
одаль от покосившегося крыльца с сидящей на нём в цветастом платке и меланхолично шевелящей губами кособокой старухой. Со стороны казалось, что перемены, коснувшиеся этого небольшого пространства с двором, избой, старухой, безжизненной скотиной, никоим образом не могут повлиять на остальной близлежащий мир, однако, приблизившись, можно было разглядеть, что корова, уже начавшая уходить нетвёрдыми шагами в разверзшуюся перед ней бездну природы, но ещё не окончательно покинувшая этот мир, как будто взяла в последнюю минуту своего существования на себя все тяготы и скрытые, загнанные в глубину печальные чувства и мысли всех проходящих мимо людей, которых было за её долгую жизнь немало.

Скончавшаяся, словно утерявшая ключ к главным воротам, за которыми хранится разгадка её собственной жизни, она смотрела ясным непрерывающимся взором вдаль, будто скорбя вместе со всеми о своих днях, которые могли быть, но не стали более желанными, как мечтала она сама, ещё будучи юной и сильной.

◆

Лето в этом году выдалось жаркое, удушливое, и, когда осень, наконец, запоздало взглянула мне в окно, я вздохнул с облегчением – россыпь ярких красок и влажные запахи слились для меня в этот момент в единое ощущение счастья.

Слетев с дерева и импровизируя в полёте, вниз устремился оранжевый кленовый лист; зрачок мгновенно уловил перемены, и от самых веток до земли им был сделан ряд снимков на память, точнее для памяти, тотчас помещённые невидимым слугой в её недра, для лучшей сохранности тёмные и прохладные, рядом с аккуратно сложенными другими такими же снимками.

Что-то отвлекло меня, и, когда я вновь посмотрел за окно, то прежнее очарование, очевидно, испугавшись клише, было утеряно. Истрёпанная
ветрами улица, пристально вглядываясь в моё лицо, смотрела на меня своим внимательным взглядом – не заметил ли подмены?

Я сделал вид, что всё осталось на своих местах, и, чтобы отогнать ворожбу, громко закашлял. Лето действительно отступило – прохлада, преодолев врата форточки, метнулась раз, другой на моё лицо и словно раскрыла передо мной чистую страницу – новое знакомство, исполненное подступившей грусти, шелестом листьев и запахом угасающей жизни.

Я поднял с пола кусочек засохшей краски; ультрамарин казался частицей моря, которого не видел никогда, ибо прожил в окружении городского наваждения столько времени, что мир для меня мог выглядеть лишь так – скоплением умирающего цвета, но я знал, что где-то там, за бескрайними просторами земли, жила, лаская волнами синеву, волшебная страна.

И теперь, с волнением рассматривая эту частицу, несущую в себе воспоминание о далёкой стихии, и ощущая на губах вкус собственной крови, я вглядывался в неё будто в зеркало собственной души – робко и одновременно с тайным желанием постичь её тёмную глубину. Зачем? Очевидно, из-за любопытства – правда ли, что там, в бездне, таится первопричина всего сущего?

Тяжёлая усталость разлилась по моему телу, и я опустился в глубокое кресло, чувствуя, что его мягкие объятия уже не выпустят меня. Но вдруг, внезапной дробью застучав в мои барабанные перепонки, случилось чудо – мир словно очнулся от долгого сна, брызнув на меня яркими красками, всеми, которые существовали в палитре.

А потом я увидел море. Тихим рокотом, издалека наполняя звуками прибоя пространство, в котором я начинал жить, и подавляя своей волей вездесущий воздух, оно, несущее чистую величавую гибель, неумолимо накатывающее и желанное, показалось мне настолько прекрасным, что я позабыл название города, в котором жил, своё имя и то, из-за чего я оказался в этой комнате, одиноко сидящий в кресле у окна и устремивший свой взгляд на петляющую вдаль дорогу.

◆

Настала зима. Лениво кружась, окрашивая собой улицы и переулки, снег падал на почерневшую от мороза стылую землю. В поднимающемся к небу из печных труб белом дыме царил холод; мальчик знал это, как и то, что на улице, став одним из озябших прохожих и выдыхая изо рта воздух, можно увидеть его превращение в полупрозрачную и таящую на глазах вату. Снаружи было неуютно, но сейчас он был в тепле, дома, под защитой толстых стен и всего, что окружало его, – домашних предметов.

Андрюша стоял у окна на кухне и терпеливо мыл, слегка наклонясь над раковиной, свою тарелку, внимательно в неё вглядываясь и аккуратно оттирая то, что осталось на ней после обеда.

Закончив, он повернулся и подошёл к другому окну, выходившему на тихий и опустошённый зимою двор. Мальчик чувствовал, что именно так, наблюдая за падением снега и равномерным укрытием земли белым одеялом, он становится мудрее и лучше, созерцая и познавая природу в её полном одиночестве.

Сегодня он болел, и мама не отправила его в школу. Перевязав его шею тёплым платком, она наказала ему пить горячий чай и принимать лекарства.

Андрюше было приготовлено два лежащих на столе небольших белых овала, и он, взглянув на них, вспомнил, что когда-то уже пробовал таблетки на вкус и они были горькие. От этого ему стало беспокойно, но он отступил от окна, чтобы послушно взять одну из них и проглотить, как велела мать.

Однако что-то более сильное, чем следование её наставлению, остановило его, и он, обернувшись, вновь устремил свой взгляд на постепенно замерзающую жизнь двора.

Мальчик стоял, сплющив свой нос об оконное стекло, не двигаясь и наблюдая в тишине за приходом зимы, и так ему стало счастливо от этого чувства наступившего беззвучного блаженства, что он замер, умиротворённый и недвижимый, стараясь продлить эти кроткие минуты как можно дольше.

Ему казалось, что он растворился в этом смолкнувшем на время мире, став частью его, и теперь сам состоял из снега, падающего на землю, двора, потерявшего свой привычный цвет, дома, терпеливо переносившего невзгоды зимы, тёмной кухни, наполнившейся уютом, стекла, хрупко спасающего квартиру от холода.

Андрюша думал спокойными мыслями о том, что счастье, настоящее счастье и состоит в этом простом созерцании мира. И что скоро, скорее, чем он может себе представить, оно покинет его, волшебство растает под гнётом взрослого мира, под тяжестью надуманных и настоящих забот, под взглядами серьёзных молчаливых людей. Либо отступит, просто не желая принимать в себя шум, суету и нескончаемое движение, лишь забывая, забывая себя для мальчика.

А может, он и не думал об этом, а просто стоял, глядя на открывшееся перед ним убелённое зимою пространство, лишь внимая чувству, которое, посетив его сегодняшним утром, теперь останется с ним навсегда, в хранящей драгоценные переживания памяти.

**Где твои вещи?**

Однажды у одной маленькой девочки случилось несчастье – у неё пропал букварь. Затем пропал школьный пенал, потом ранец и в довершение всего один из бантов на голове.

Она страшно расстроилась и даже заплакала, потому как не знала, что сказать родителям о пропаже. Каким же образом эти вещи так быстро исчезли из её жизни, она не задумывалась.

Она решила выдумать историю, в которую должны были поверить её родители и не наказывать её. Вначале это была история о некой плохой девочке, которая отобрала у неё вещи, но она была отвергнута, потому что училась в очень хорошей привилегированной школе, где не было девочек с дурными наклонностями. Потом ей в голову пришла мысль об учительнице-воровке, но и эта история не понравилась как неправдоподобная. Тогда она решила, что лучше всего будет просто не сознаваться ни в чём.

И теперь на вопрос родителей «Где твои вещи?» она лишь молчала, крутила головой в разные стороны и издавала слабые ничего не значащие звуки.

Так она росла, пока не выросла в большую женщину. Но даже будучи взрослой, она никогда не признавалась в содеянном, если чувствовала, что это могло не понравиться другим.

Можно сказать, что она была несчастливой девочкой, ставшей взрослой несчастливой тётей. И чтобы хоть как-то веселить себя, она стала незаметно забирать у других людей разные вещи. Но особенно ей нравились вещи маленьких девочек.

В один из дней она забрала у одной такой девочки букварь, школьный пенал и ранец. А чуть позже незаметно сняла с её головы и один из бантов.

**Пальма**

Я хотел бы жить на пальме. Только там я был бы счастлив. В её густой шевелюре, навещаемый редкими птицам и, главное, вдали от людей я нашёл бы своё душевное умиротворение и покой. Вы спросите, не одиноко ли мне будет? Я отвечу вам – нет, преисполненное теплом солнце да живительный дождь – вот мои настоящие друзья, те, с которыми досуг мой будет желанен.

Я соберусь туда, на пальму, одним чудесным вечером, когда суета, шум и заботы дня вновь попытаются взять надо мной верх и сомкнуть на мне свои безжалостные объятия.

Она стоит, бросая тень на землю, в вершине её мечтает ветер, ствол силён и устремляется в небеса. Она прекрасна. Сохраните её для меня.

◆

Штольня. Темно. Последний луч света, поблуждав среди стен, теперь навсегда затерялся в черном пространстве. Увы, это была на-
дежда, которой больше нет! Очевидно, мы не выживем, и нас никогда не найдут в этом проклятом месте. Любопытно было одно – умрём мы от голода, от жажды или наш разум не выдержит в конце концов пытки одиночества?

Сначала мы съели того, третьего. Честно говоря, он мне никогда не нравился. Даже мёртвый, он источал какой-то дух неприязни, пошлого противостояния нам, коллективу. Мясо ещё куда ни шло, но жилы! Всё от непосильного труда здесь, глубоко под землёй. Не нравится мне это. Если мы отсюда выберемся, даю слово, я назову его именем своё домашнее животное.

А пока, увы, нам приходится мириться с обстоятельствами – холодом и оглушающей пустотой мрака. От отсутствия света теряешь осознание самого себя, своих частей тела: рук, ног, головы. Мы ели его тоже в кромешной тьме, а как иначе?

Это было прекрасно – забыть на время про ужасающий голод, воющий зверем и вырывающий своими когтями нутро. Наверное, так чувствовали себя и остальные. Иначе почему мы подрались, стараясь нанести друг другу как можно больше увечий? Я знаю, я чую – тот, что справа, припрятал кусочек, наверняка самый вкусный. Ничего, и до него дело дойдёт!

Глупые, они полагали, что, уничтожив осязаемое, они предадут тлену и бессмертный дух! А впрочем, ничего они не думали. Просто хотели есть. До дикого, умопомрачающего состояния разума, когда это и не разум вовсе, а лишь одна безумная лютая мысль, мечущаяся в замкнутом пространстве без какой-либо надежды на обретение покоя. Я рад, что смог доставить им невероятное наслаждение. И хотя они не любили меня, я прощаю им то, что они поступили так со мной безо всякого предупреждения.

◆

Клубникой пахло повсюду. Терпкие, пахнущие зрелой клубникой невидимые поля полностью загромождали мои чувства и совершенно не давали возможность ощутить другие запахи. Даже глухой ночью, когда все усталые обитатели одеревенелых трущоб спали, а я лежал на разворошенной постели без сна, этот сладкий запах упорно пробивал себе путь сквозь мои дремлющие нервы – прямо в бодрствующее сознание!

Под конец второй недели этот всепроникающий аромат стал для меня непереносимой пыткой, он перерос, казалось, самое себя и устремился в вечность, в студёные космические просторы.

Это было невыносимо – я сходил с ума, я недоумевал, силясь отгадать загадку его происхождения, но загадочнее всего было то, что, по-видимому, этого неудобства никто не замечал кроме меня, по крайней мере, не высказывал своего неудовольствия публично.

И только спустя несколько недель я понял, отчего с такой навязчивостью запах настигал меня, а настигая, выхаживал своей сладостной плёткой. Я понял это в одно мгновение, и сразу же мне стало легче, как будто груз, лежащий на моих терпеливых плечах, внезапно улетучился бестелесным призраком в дрожащем пространстве.

Запах клубники был вездесущ благодаря тому, что она и в самом деле заполнила собой всё вокруг. И никто в целом людском мире не замечал этого, а я – да! Клубника стала нашим домом, точнее – наш дом стал ею, и всё окончательно также осуществилось её природой: дома, улицы, автомобили, вся дикая и прирученная природа – всё было она.

Таким образом, этот запах был вполне естествен и вездесущ именно в силу её обитания – повсеместно! Но самое благое для меня заключалось в том, что с момента осознания происходящего меня абсолютно перестал беспокоить её аромат.

Он исчез. И всё встало на свои места.

**Фрида**

К концу лета, когда в воздухе уже чувствуется запах прелых листьев, порывы холодного ветра так и норовят сорвать с головы шляпу, а в небе всё чаще раздаются протяжные журавлиные крики, в нашем доме, нашем милом пристанище, который мы так любим и своими сердцами согреваем во время осаждающей его стены непогоды, когда, кажется, весь мир настроен против него и лишь мы, его верные жильцы, служим ему оплотом, случилось происшествие.

Наша жизнь состояла из размеренных и избавленных от потрясений спокойных дней. Нам всё было понятно. Нам всё было очевидно. Как вдруг такое происшествие – в нашем доме поселился ящер!
Поначалу Фрида, моя жена, увидев его, восприняла это как откровенное предательство. Она вскочила с постели и закричала ночью в пустой коридор:

– Ах ты сволочь, этим ты нам отплатил?! Мы холили тебя, лелеяли, чистили крыльцо, белили снаружи. Внутри мыли-вымывали. А ты, паршивец, посмел приютить тварь хвостатую, холодную, гладкую на ощупь!

Дом содрогнулся, но выстоял.

Фрида искренне захотела, чтобы и я присоединился к её причитаниям, но это было не по мне. Наоборот, я возжелал познакомиться с чудной тварью поближе, узнать, как она живёт и о чём думает, словом, подружиться с ней. Я хотел сделать это незаметно, чтобы жена ничего не заподозрила и не бранилась чрезмерно. И вскоре такой случай представился.

Одним поздним вечером я спустился в подвал, где обитал ящер.
Я светил себе фонариком, выхватывающим из тьмы причудливые тени предметов, кашлял от пыли, путался ногами в старье и был уже не рад, что пришёл сюда. Но вот спустя минуту луч моего фонаря нащупал длинное тело. Это был он. Ящер глянул на меня своим остекленевшим глазом и повернул длинную голову вбок, как бы намекая на протяжённость своего жизненного пути.

Я приблизился к нему и увидел в слабом свете все его великолепное тело – обтянутые прекрасной кожей могучие мышцы, длинный тёмный хвост и юркий язык, появляющийся на мгновение для того, чтобы снова исчезнуть. Именно этот язык меня и заворожил. Его заострённый кончик, без устали пробующий окружающий мир на вкус, словно убеждаясь всякий раз в нереальности происходящего, но не теряющий надежду на лучшее истолкование жизни, говорил со мной. Голос был с хрипотцой, очень глубокий и проникновенный голос.

Я слушал его, тихонько раскачиваясь, как в лёгком трансе, пропуская через себя необычную вибрирующую речь. Это было потрясающе и незабываемо, казалось, так может продолжаться вечно. Я замер, боясь нарушить таинство, но тут Фрида закричала сверху: «Куда ты запропастился, мерзавец, я тут одна в тёмном и страшном доме, с этой жуткой тварью!»

Мне захотелось сказать ей: «Жена, постой, не бранись, лучше спускайся к нам и послушай мудрого ящера». Но я ничего не произнёс вслух. Вместо этого я наклонился к живому существу и посмотрел ему в глаза. Его взгляд отразил меня самого, и я понял, как плохо мне было до этого момента, как бесцельно прожил я свою жизнь, на что разменял её драгоценные минуты.

«Спасибо», – только и мог я с горечью произнести шёпотом.

Ящер закрыл глаза. И я закрыл свои. Мы молча пребывали в тишине, каждый слушая свою жизнь.

Фрида наверху в своей комнате тоже сомкнула веки. Она спала.

А потом он снова заговорил со мной.

◆

Из глубины моей растрескавшейся души я смотрю на мир глазами слепого ребёнка, лишь слабо ощущая капли дождя на своём лице и могильные прекрасные запахи мокрой земли.

Ветер воет, норовя вырвать звук из моей пересохшей глотки, и чувство, которое я забыл, вновь пытается найти себе дорогу к сжавшемуся от страха сердцу.

Повсюду ночь. И даже если я выйду в море, то, носом зарываясь в беспокойные волны, лодка моя ничего не вспомнит, кроме скрипа весел да ненасытных ударов о борт чёрной воды.

Бесконечные ветреные дни. Мой дом находится на холме, его крыша покрыта коростой ржавого мха, и повсюду камень и только лишь камень. За домом небольшой чахлый сад, но существует ли он на самом деле? Тьма скрывает от меня правду. Порывы ветра немилосердно отвешивают оплеухи моему лицу, впрочем, уверен ли я и в этом? Сплошные вопросы, на которые нет ответа в мире, в котором я живу.

Бывает так: ранним холодным утром на губах соль, как щедрый дар от раскинувшегося у подножия горы моря; вместо глаз – щели, рождённые попытками непогоды проникнуть внутрь меня; мрак, отступающий с чудовищной неохотой; последние звёзды на небосводе и чувство, скребущееся внутри, навязчивой тупой болью напоминающее – ты жив!

Во время последнего лунного затмения, когда забытый богами луч, пометавшись, наконец, вырвался из нашего мира и растаял в глубине обморочного неба, я стоял на пороге дома и, пытаясь усмирить накатывающую на моё сердце влагу, ждал. Ждал, когда отсутствие света окончательно поглотит меня, дабы убедиться самому – всё существует, покуда я есть, и всё будет существовать, когда меня уже не станет. Время останавливалось всякий раз, когда я прислушивался к себе, и вновь ускорялось, если я забывал себя.

В благодати одиночества я виню себя той неутолённой виной, что не смог, возможно, не захотел, возможно, отверг, возможно, не сделал невозможное и не отшвырнул от себя то, что присуще человеку и делает его человеком – лицемерную маску покоя небожителя, смиренно ложащуюся на ещё младенческое лицо, врастающую в его нежную кожу с самых первых дней.

Что имею я под ней? Кровоточащее месиво распадающейся плоти; ручьи мысленного ужаса и содрогание грохочущего пульса, проходящего волнами по всему телу; непрекращающийся кошмар неразделённого ни с кем осознания происходящего; мучительную дрожь вечно агонизирующего в груди сердца; своё имя, застрявшее на гнили зубов.

Что дальше? Этого не знает никто. Хотя, возможно, именно вы и знаете.

Снимите свою маску!